

Над городом — пасхальный перезвон.
У мамы все готово для обеда,
и я, поднявшись в полдень, к маме еду
и на ходу застегиваю сон.

Во сне весна и верба за окном,
и на губах победная молитва —
окончена очередная битва,
и поле брани в холоде стальном,

и я как будто ангел в поле том.
Чернеют лица павших в лунном свете
косыми ранами, и раны эти
я исцеляю огненным крестом.

И тот, кто был посланником небес,
и кто на бой из-под земли поднялся —
все, оживая, я могу поклясться,
поют один куплет: Христос воскрес!

Христос воскрес, оплатим за проезд!
Автобус. День. Расстегиваю куртку.
Громоподобный праздничный кондуктор
в конец салона сквозь толпу пролез.

Возьми, кондуктор, деньги и оставь
меня с моими ласковыми снами,
нас всех когда-то дерево познаний
стреножило и выбросило в явь —

с тех пор мы любим спать и сочинять,
и на застольях поднимать бокалы...
Верни, кондуктор, сдачу, что упала,
и расцветет с тобою благодать.

Скандал. Автобус. Выбираюсь вон.
Обед. Диван. Усталость. Телевизор.
Любовью беспредельною пронизан —
над миром всем — пасхальный перезвон.

* * *

Как-то немощно стало дышать,
расшатались качели строки...
Отойду, чтобы вам не мешать,
похожу у весенней реки.

Безо всякой печали, легко,
не жалея о годе былом,
совершается ледоход —
все, что крепло и вызрело льдом,

превращается в мягкость воды,
забывает углов острие,
умирает обмылком седым
и стихи, умирая, поет.

Вы учили не звать и не греть,
представляться гранитом руки —
и на том вам спасибо, но впредь
я учиться хочу у реки.

Я кусок огрубевшего льда
из продрогшей груди извлеку
и волне молчаливой отдам,
и сама за волной побегу.

Далеко, далеко, далеко
разольется больная шуга
молодою веселой рекой —
я ее заведу под рукав,

через горло и грудь пропущу.
Я была слюдяною скалой,
а теперь, улыбаясь, плещусь
рядом с вашей сухою толпой.

Бейте смело ногами в меня!
Собирайте в усталой горсти.
В каждой капле весенней звеня,
я спою вам на память стихи.

Журавль белый за окном,
журавль, Расскажи,
как за рубиновым вином
я прожигала жизнь,

как я пьянела и цвела,
как пела и плыла,
как я летела и была
убита наповал.

Пернатый пилигрим небес,
запомни, отмоли
в ночи поющего тебе
заложника земли.

* * *

Какая жизнь пошла тяжелая,
какая злая суета...
Огромным городом изжевана,
приду домой — слаба, пуста.

Улягусь в ванну разусталая —
плывут над ванной облака.
Вот облако одно растаяло,
и светят звезды с потолка.

* * *

Стихи выдавливать по капле,
как кровь из пальца в полусне
и время изводить пока пле-
врит не смоет по весне —

о том ли в горле пело утро,
когда, гадая по руке,
я светлые черты маршрута
проглядывала вдалеке,

и выбегала на дорогу,
и чувствовала, как легко
мои босые ноги могут —
и по камням, и над рекой...

О, сколько было этих весен,
пока затягивало в дым,
где в обмороке зимних сосен
мои закутало следы.

И кажется: зима навеки
и в горле блеск ее блесны,
и льдинки падают на веки,
и капают под веки сны...

И слышно, когда все стихает,
как снега сонного бруски
шипят и тают под стихами,
накапавшими из руки.

* * *

Еще немного атаракса
мне на дорожку положи.
Темнеет на бумаге клякса,
и эта клякса — моя жизнь —
ее мне тоже положи.

Какая есть — другой не будет,
но «повторится все, как встарь» —
и мама в семь утра разбудит,
и во дворе моргнет фонарь,
и «ну, аптекарь, отоварь!»

А может, и того не будет.
Но завершится все, что есть —
слепая вереница будней,
светящая Благая весть
и эта бросовая песнь.

Все заверни, сложи в котомку,
перекрести на дальний путь
дешевой выцветшей иконкой —
ее мне тоже не забудь —
фонариком повесь на грудь.

* * *

Куда пойти из дома сонного
за дорогими разговорами?
Гудит пространство законное
словами вздорными, раздорными.

Зайдешь в какую-нибудь комнату,
робея дружбы и поэзии,
а попадешь в кружочек сомкнутый,
где все о памятниках грезят.

Я тоже, в общем, из беспамятных,
но помню слово изначальное,

и я прошу: поставьте памятник
моим родителям печальным.

Не провели, а время сделали
из собственной горячей крови,
и ничего они не ведали
на свете, кроме глаз коровьих.

И ничего они не видели,
а только маялись, работали,
а мира солнечные жители
на их плечах толклись обутыми.

И все держалось, да и держится,
пока на кухне ранним утром
фиалки розовые нежатся —
на подоконнике протертом.

Фиалки розовые, синие —
согреты маминой рукою,
а папы руки парусиновые
растили нежностью другою.

Конечно, было горе детское
и слезы — страшные, бессонные, —
но в этом тоже есть последствие
любовью вечною спасенных.

Не жизни ярким победителям
и не поэтам этим скверным,
прошу, а памятник родителям
поставьте в Первомайском сквере.